

Глава V. «Дружеское и союзное возле»

“ Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революций, среди разгрома и грозной обстановки.

А. Герцен

За годы тюрьмы и ссылки Бакунина многое изменилось в политической жизни Западной Европы и России.

После крестьянской реформы (19 февраля 1861 года) революционная ситуация в России достигла наивысшего подъема. Предельно лаконичную и четкую характеристику этого времени дал В. И. Ленин:

«Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России „Колокола“, могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых „очень часто“ приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять „Положение“, обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять такое „Положение“, студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».[188]

В кругу «Колокола» в Лондоне и в кругу «Современника» в России стали крепнуть мысли о необходимости создания революционной партии, способной организовать и повести за собой демократическое и революционное движение.

В сентябре — октябре 1861 года мысль о создании тайного общества была высказана на страницах «Колокола». Вопрос о необходимости серьезной организации революционных сил ставил автор[189] статьи «Ответ „Великоруссу“». В редакционном примечании к «Ответу» издатели «Колокола» писали: «Мы давно думали о необходимости органического сосредоточения сил, но считали, что не от нас должна выйти инициатива, не из заграницы, а из самой России».[190]

В статье «Ответ на „Ответ „Великоруссу““» Н. П. Огарев специально и подробно рассматривал вопрос о тайном обществе, выражал уверенность в его необходимости и важности, рекомендовал организовывать общества сначала по областям. «Каким образом, — писал он, — сложатся общества, это невозможно предугадать. Есть стремление, есть воля, есть цель, робость проходит — вот достаточные данные для их существования».[191]

Вот в это время напряженных поисков организационных и идейных форм дальнейшего движения в круг издателей «Колокола» и вошел Бакунин.

Известие о том, что бегство Бакунина удалось, Герцен получил 1 октября 1861 года. «Бакунин пробрался в Америку, — это я нашел в последнем письме», {А. И. Герцен, Соч., т. XXVII, кн. I, стр. 185.

От кого было это письмо, мы не знаем. Но если учесть, что 5 сентября Бакунин лишь сел на пароход, следующий в Сан-Франциско, и что путь через океан занимал тогда около 25 дней, то ясно, что корреспондент Герцена мог сообщить ему об этом событии, лишь зная о благополучном отъезде беглеца. А знать могли только на месте действия. Возможно, и в этом как-то был замешан лейтенант Афанасьев.

В письмах Герцена и Бакунина (к разным лицам), где речь шла о побеге, не упоминалось о том, кто и как помог осуществить его. Друзья, как бы сговорившись, приписывали успех побега Амуру, обыгрывая звучание этого слова.

«Спас меня Амур», — сообщал Бакунин из Сан-Франциско Фохту. «Я предался Амуру, не богу, а реке», — писал он Жорж Санд. «При помощи Амура, как видите, можно попасть не только в больницу, но и в какую-нибудь Калифорнию», — замечал Герцен в письме к Шарлю Эдмону.} — писал он Н. А. Тучковой-Огаревой. Сам Бакунин лишь 3 сентября из Сан-Франциско смог написать Герцену.

«Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей *idée fixe* с 1846 г. и моей практической специальностью в 48—49-х годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю делом: это было бы слишком честолюбиво, но для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос продвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная вольная славянская федерация, единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов».[192]

К новому, 1862 году еще раз, но уже в другом направлении переплыв океан, Бакунин явился в Лондон.

«В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз, вошел новый элемент, или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен... Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне в 1849, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости... Тогдашний дух партии, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия

революции — все было налицо».[193]

На этот раз Герцен был прав. Потеряв здоровье, зубы и часть своей пышной шевелюры, Бакунин сохранил веру, убежденность и тот пыл души, который редко можно было встретить у людей его поколения, перенесших годы реакции на воле. Как ни парадоксально, но в эпоху упадка революционного движения морально труднее сохранить себя было тем, кто не подвергался прямым репрессиям. «Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят, они выходят из нее как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания»,[194] — и эти слова Герцена не менее справедливы. Однако то, что человек «выходит из обморока» через 8—10, а порой 20 лет, то, что со своими идеалами оказывается он совсем в другой эпохе, нередко обращается трагической коллизией как для самого «сильного человека», так и для дела, в которое он погружается. На этот раз не так сложно пришлось самому Бакунину, как его друзьям и их общему делу.

В первые же недели по приезде в Лондон Бакунин принялся за статью «Русским, польским и всем славянским друзьям», которая и появилась 15 февраля 1862 года в виде приложения к «Колоколу» (№ 122–123). Он вновь повторил свои призывы к славянской федерации. Обращаясь к людям «всех сословий, обладавших живой мыслью и доброй волей», он звал их создавать кружки, собирать деньги, распространять литературу, образовывать партию с целью борьбы «за пришествие народного царства». Кажется, что не 13 лет, а несколько месяцев отделяют эту статью от его «Воззвания к славянам». Прежнее восприятие окружающего мира, прежние стремления — все налицо.

Сотрудник Герцена В. И. Кельсиев в своей «Исповеди» так передает одну из первых бесед Бакунина с Герценом, свидетелем которой он был:

«— В Польше только демонстрации, — сказал Герцен, — да авось поляки образумятся... Собирается туча, но надобно желать, чтобы она разошлась.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

— Что же тогда делать? — сказал в недоумении Бакунин. — Неужели же ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело?! Эдак с ума сойдешь, я без дела сидеть не могу».[195]

Рассказ этот, очевидно, утрирован, но общей направленности стремлений Бакунина не противоречит.

О своей жажде деятельности сообщал Бакунин и Жорж Санд, с которой поспешил по приезду возобновить старые отношения: «Я вновь свободен и готов приняться за те прегрешения, за которые со мной так немилостиво обошлись... Я чувствую себя еще достаточно молодым. Мне как раз столько лет, как гетевскому Фаусту, когда он говорит: „Слишком стар, чтобы забавляться пустяками; слишком молод для того, чтобы не иметь желаний“. Лишенный политической жизни в течение 13 лет, я жажду деятельности и думаю, что после любви высшее счастье — это деятельность. Человек вправду счастлив, лишь когда он творит».[196]

Творчество Бакунина было весьма своеобразным. Он чувствовал себя призванным вновь создавать лишь гигантские планы и работать над осуществлением не только русской, но и общеевропейской революции. Какими же возможностями располагал неутомимый бунтарь на этот раз? В свой актив он прежде всего зачислил как редакцию «Колокола», так и всех друзей и знакомых Герцена и Огарева.

Быстро вошел он в близкий Герцену круг европейской демократии. Здесь были и итальянские революционеры Джузеппе Мадзини и Аурелио Саффи, и знакомый Бакунину по февральской революции во Франции Луи Блан, и английский демократ Вильям Линтон, было немало поляков и много русских. Были, наконец, живые, практические связи с Россией, которыми никогда ранее не располагал Бакунин.

В многогранной русской аудитории, собиравшейся у Герцена, весьма своеобразной фигурой был Петр Алексеевич Мартьянов. Недавно еще крепостной крестьянин графа Гурьева, занимавшийся торговым делом, он за 10 тысяч рублей получил отпускную почти накануне освобождения крестьян. Разоренный графом, он безуспешно пытался поправить свои дела, а когда это не удалось, уехал за границу, где и явился к Герцену.

Интересную характеристику Мартьянову дал хорошо его знавший В. И. Кельсиев: «Всю любовь своей сильной и страстной натуры он излил на царя и на простонародье, да так излил, что без слез не всегда говорить об них мог. Всю же ненависть свою, годами накопившую на сердце злобу, он опрокинул на дворянство и на чиновничество. „Всякий, кто не сын народа по происхождению, да погибнет!“ — провозглашал он».[197]

За любовь к царю и веру в него Мартьянов заплатил жизнью. В апреле 1862 года он написал письмо Александру II. Высказав свои взгляды на положение дел в России, он кончал его так: «Государь! я говорю голосом народа, моя обязанность — свобода, мое право — кровь и страдания. Мне поверка — народ и его люди; мы ждем от Вас созвания Великой Земской думы, для постоянных совещаний вокруг Вас». Письмо было послано по почте, а затем напечатано в «Колоколе». Больше на Западе Мартьянову делать было нечего. Человек строгой последовательности, он должен был идти до конца. «Сказать печатно слово и отвернуться от России для Америки — не хорошо», [198] — объяснял он Огареву причину своего возврата на родину. «Что найду? Кто знает! Хочу добра и правды». Нашел он тюрьму, каторгу, смерть.[199]

Первые месяцы жизни в Лондоне Бакунин много времени проводил с Мартьяновым. Впервые близко сойдясь с выходцем из крестьянской среды, воодушевленным огромной верой в свои

идеалы, Бакунин был поражен. Мысли Мартьянова, бесспорно, не прошли для него даром. По словам Огарева, именно это общение толкнуло его на проповедование идей Земского собора в такой форме, в которой было много «неуясненного царизма».

В конце лета 1862 года появилась брошюра Бакунина «Народное дело» с подзаголовком: «Романов, Пугачев или Пестель?» Брошюра почти целиком была посвящена русским делам и сводилась в основном к одной проблеме — пропаганде Земского собора.

Идея Земского собора в это время вообще была весьма популярна в либеральных и частично демократических кругах России. Сторонникам общинного социализма и федеративного государственного устройства под влиянием реформ, осуществляемых правительством, стал казаться возможным и легальный созыв Земского собора для разрешения всех наболевших проблем русской жизни. Герцен и Огарев некоторое время видели два пути организации «выборного федеративного правительства»: созыв Земского собора с согласия царя или в случае отказа последнего — вооруженное восстание.

Войдя в круг русских дел и русских интересов, Бакунин со свойственным ему пылом увлекся новой для него идеей и довел ее до некоторых крайностей.

Изложив в брошюре свои мысли о федеративной организации славянского мира и России, Бакунин ставил риторический вопрос: «С кем, куда и за кем мы пойдем?.. За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним?

Скажем правду; мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского».[200]

Спустя четыре года Бакунин напишет: «То было время компромиссов... время нелепых надежд... Мы все говорили, писали в виду возможности земского собора... и делали, я по крайней мере делал уступки не по содержанию, а в форме, чтобы только не помешать, в сущности невозможному, созванию земского собора. Каюсь и вполне сознаю, что никогда не следовало отступать от определенной и ясной социальной революционной программы».[201]

Теоретические статьи, как всегда, не занимали целиком Бакунина. В первые же месяцы лондонской жизни он с жаром погрузился в практическую революционную работу. Одним из важнейших дел его в это время стала организация транспортировки изданий «Вольной русской типографии» в Россию. Уже по дороге из Сибири он пытался установить связи с тремя купцами: немцем в Шанхае и двумя американцами в Николаевске-на-Амуре и в Японии, с тем чтобы они брали на комиссию издания «Вольной русской типографии» и продавали бы их русским офицерам и кяхтинским купцам.[202]

Не только распространение «Колокола», но и создание новых пунктов, подыскание новых агентов для связи с Россией занимали Бакунина. Многие, ничем не занятые эмигранты из славянских стран окружали его и готовы были исполнять любые конспиративные поручения. Вот так пишет Герцен о деятельности его в первые лондонские месяцы: «Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он

бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать — пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Среди писем он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, как он сам, а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой».[203] Герцен, как всегда, образен и ироничен. Однако масштабы планов и практических действий Бакунина, его вера в то, что каждый привлеченный им человек может и должен отдать свои силы революции, могли вызвать не только иронию. Так, Петр Алексеевич Кропоткин писал по поводу этих слов Герцена: «Весьма возможно, и, наверное, так и было, что Бакунин часто возлагал больше надежд на подходивших к нему людей, чем они это заслуживали. Но разве того же нельзя сказать о Мадзини, о всяком искреннем революционере? Оттого, может быть, он и обладал такой магической силой, что верил в человека, верил в то, что великое дело, к которому он его приобщал, пробудит в человеке то, что в нем есть лучшего. И оно действительно пробуждало, и под влиянием Бакунина человек давал революции в короткое время все лучшее, на что был способен».[204] И все-таки выбор эмиссаров часто был неудачен, а практические действия кончались провалами. Так случилось и с попыткой соединения итальянского и славянского освободительных движений. С этой целью Бакунин вступил в переписку с Джузеппе Гарибальди. Однако посланец, направленный со столь ответственной миссией, действительно был выбран неудачно. Это был молодой петербургский чиновник Андрей Иванович Ничипоренко, хотя и принимавший деятельное участие в революционных акциях, но не по велению сердца, а по тщеславному желанию играть роль заговорщика.

В письме, врученном Ничипоренко для передачи Гарибальди, Бакунин изложил свою старую программу 1848–1849 годов: уничтожение Российской, Австрийской и Турецкой империй, союз с мадьярами и создание сначала федерации всех славян, а затем автономия и федерация всех вообще свободных народов. «Дело великое, но не невозможное. Есть минуты, в которые только мелкое и умеренное неисполнимо.

Начнем с соединения славян с итальянцами. Молодой человек, переговоривши с Вами, отправится в Вену, оттуда в Прагу, он проедет всю Венгрию до Сербии; наконец из Белграда он отправится в Галац, потом в Малороссию. Генерал, если Вы находите истинно полезным соединение славян с Италией, если Вы имеете веру в действительность и пользу нашего соединения... скажите ему, чего Вы желаете; сделайте ему поручения в те города, которые он посетит; назовите ему людей, которых он должен видеть...»[205]

Свою рекомендацию Ничипоренко дал и А. Саффи. Он писал Гарибальди, что представляет ему молодого человека как друга Герцена и Бакунина, который может «оказать весьма важные услуги делу народной эмансипации по знаниям своим о славянской народности».

Союз с Гарибальди надо было подкрепить и реальными действиями в славянских странах. Для этого Ничипоренко же были даны другие письма. В письме к Фрицу в Прагу Бакунин, рассказывая о своих планах, предлагал начать революционную работу сначала в Богемии, потом в Моравии и Венгрии, приглашая своего корреспондента явиться в Лондон и привезти

с собой «несколько хорватов и сербов» для того, чтобы решить вопрос о том, какими силами могут располагать славяне.

В другом письме к одному из деятелей славянского движения, Куслиану, Бакунин писал о необходимости соединить вновь «старую разорванную сеть, ...на основании первого славянского конгресса».[206] Письма эти Бакунин писал в середине мая 1862 года. 18 июня на австрийской пограничной станции Пескиери Ничипоренко обыскала полиция и отобрала у него прокламации на итальянском языке. Письма же во время обыска он сумел незаметно бросить под скамейку. Однако после его отъезда дальше, в Венецию и Триест, бумаги эти были, найдены. Немедленно австрийскими властями было отдано распоряжение об аресте Ничипоренко на территории Австрии и Турции, а копии писем были направлены в Россию, где его самого арестовали спустя месяц.[207]

В начале июля произошел и другой провал — на границе был арестован Павел Александрович Ветошников, везший письма Бакунина, Герцена, Кельсиева. Арест этот повлек за собой целую цепь других и положил начало «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». Письма Бакунина адресованы были М. Л. Налбандову, И. С. Тургеневу, Н. С. Бакуниной и касались главным образом сугубо личного вопроса, а именно его жены. Вызов Антонины Ксаверьевны был для Бакунина вопросом первостепенной важности. Он действительно любил жену и, несмотря на всю свою бурную деятельность, тяжело переносил вынужденную разлуку.

Еще с дороги, 3 декабря Бакунин писал друзьям о том, что отсутствие известий об Антонине Ксаверьевне очень мучает его. Первым его делом по приезде в Лондон стали хлопоты о ее вызове. Однако дело это было весьма сложное. Прежде всего нужны были деньги. Еще до приезда Бакунина Герцен постарался обеспечить ему некий прожиточный минимум путем подписки в его пользу среди друзей. Однако, кроме самого Герцена, Тургенева и Боткина, мало кто принял участие в этом деле. Да и собранной суммы не могло хватить на путешествие А. К. Бакуниной из Сибири до Лондона. Тогда Тургенев пообещал Бакунину дать его братьям займы 2 тысячи рублей.

Но, помимо денежного вопроса, возникли и другие осложнения. Либерально настроенные братья Бакунина Николай и Алексей — один член губернского присутствия, другой уездный предводитель дворянства — в числе 13 дворян подписали заявление губернскому по крестьянским делам присутствию, что присоединяются к принятому ранее постановлению губернского дворянского собрания, требующего немедленного выкупа крестьянских наделов и созыва «собрания выборных от всего народа без различия сословий». За эту акцию они были преданы суду Сената и заключены в Петропавловскую крепость.

«Жаль Бакуниных, — писал по этому поводу М. С. Корсаков своей матери 8 апреля 1862 года, — умные люди, могли бы, кажется, избежать этих неприятностей, надо помогать царю поправить то, что, оказывается, непрактично сделано, а не вооружать против, а своими открытыми протестами они сделали последнее».[208]

Но как бы ни осуждал этот поступок их осторожный родственник, а дело было сделано. Находясь в крепости, они, естественно, ничем не могли помочь как Михаилу

Александровичу, так и его жене. Единственный из братьев Павел, находившийся в это время в Премухине, не очень энергично хлопотал, чтобы вызвать из Сибири Антонину Ксаверьевну. Тогда-то Бакунин и вынужден был прибегнуть к помощи нового молодого друга — Налбандова.

Михаил Лазаревич Налбандов (Налбандян), революционер, писатель и публицист, был известен не только у себя на родине в Армении. В 1859–1862 годах, неоднократно бывая за границей, он близко сошелся с лондонскими эмигрантами и стал участником русского освободительного движения. «Золотая душа, преданная бескорыстно, преданная наивно до святости», — говорил о нем Герцен.

Уезжая из Лондона, Налбандов, как человек добрый, отзывчивый и энергичный, взялся помочь Бакунину вызволить из Сибири его жену и помочь ей уехать за границу. Он должен был взять деньги у Тургенева, отправить их в Иркутск, навестить Премухино и проследить за тем, чтобы родные Бакунина пригласили Антонину Ксаверьевну пожить там две-три недели перед отъездом за границу.

Все эти дела продвигались крайне медленно. Тургенев никак не мог достать нужной суммы. К многочисленным напоминаниям Бакунина прибавил свой голос и Герцен. 28 марта он писал: «Тургенев моего сердца, Бакунин тебя просит, и я приговариваю — отдать 950 фр. этому Лазарю. Ты, стало, по-моему, за этот год — безнедоимочен. А деньги уже выходят (это те, что ранее даны были Бакунину. — Н.П.). Работает он мало. Ему со всех сторон предложения — а он ни тпру ни ну. Отяжелевши. А вот на днях мне 50 лет!»[209]

Но, прося Тургенева ссудить деньги Бакунину, Герцен в то же время весьма неодобрительно относился к предстоящему приезду его жены. «Налбандов очень и очень честный и хороший человек, — писал он в следующем письме к Ивану Сергеевичу, — не вели ему сюда возить жену Бакунина».[210]

А тем временем сам Бакунин проявлял страшное нетерпение. Он писал Налбандову, Тургеневу, родным (те письма, которые и были изъяты у Ветошникова), писал много и часто Антонине Ксаверьевне. «Я жду тебя, Antonie. Сердце мое по тебе изныло. Я днем и ночью вижу только тебя... Антося, друг неоцененный, приезжай, скорее приезжай».[211]

«Неужели ты еще в Иркутске! Боже мой! Неужели и в эту минуту ты в Иркутске! — с отчаянием восклицал он в одном из последующих писем. — ...Плюнь ты в глаза тому, кто станет говорить тебе, что ты стеснишь и свяжешь меня, — мне нужно твоей тесноты, твоей связи — с ними я буду свободнее, покойнее, сильнее. Я люблю тебя, Antonie. Итак, друг, верь и никого не слушай... Ей-богу, ведь страшно подумать — мы полтора года в разлуке, и я не знаю теперь еще где ты?»[212] Очевидно, кто-то из родных отговаривал Антонину Ксаверьевну от поездки к мужу, так как далее в том же письме он продолжал: «Не одну тебя, и меня хотели смутить. Мне писали из Вост. Сибири, что ты не думаешь ехать, что тебе хорошо в Иркутске. Но... я ничему не поверил. Верю только твоему слову. А ты мне сказала, когда мы с тобой расставались, что мы скоро увидимся. Я жду тебя... Еще раз повторяю: все зависит от твоей энергии, твоей воли». Далее он писал о том, что первый и самый трудный этап пути — добраться до Премухина, сообщал о том, что «на днях писал к графу Н. Н.

Муравьеву-Амурскому. Мы с ним, правда, разошлись, принадлежим к противоположным политическим лагерям, но настолько я сохранил веры в него, что не сомневаюсь в его совете и помощи в отнюдь не политических делах твоего соединения со мной».[213]

Письмо с просьбой помочь Антонине Ксаверьевне выбраться из Сибири написал Бакунин и Б. К. Кукелю. Послание это, попав в руки III отделения, естественно, скомпрометировало последнего. Поводом для обращения Бакунина к человеку, которого он и так поставил под удар своим побегом, послужила его приписка на письме Антонины Ксаверьевны.

Вернувшись летом 1861 года из Петербурга и не заставши уже в Иркутске Бакунина, Кукель принял участие в судьбе его жены. Молодая, привлекательная и неопытная женщина, брошенная, как казалось, на произвол судьбы сумасбродным мужем, вызвала вообще всеобщее сочувствие. Положение ее было действительно нелегким. Осаждаемая многочисленными кредиторами, не имея ни средств, ни близкой надежды их получить, не имея долгое время известий от родных мужа, она была растеряна, не знала, что предпринять.

Однажды, заехав к ней, Кукель застал ее в слезах. Бывший у нее в этот день кредитор довел ее до обморока. Она показала Кукелю письмо Бакунина и свой ответ и попросила его приписать к нему несколько строк, с тем чтобы сообщить мужу о том, что она не одинока и что Кукель поможет ей уладить дела и выехать из Иркутска. «Делая эту приписку по первому побуждению, не предусматривая, к сожалению, никаких последствий, я вовсе не имел в виду, к кому пишу, а помнил только, для кого пишу, руководимый участием лишь к грустному положению молодой, болезненной и брошенной женщины»[214] — так объяснял Кукель свой поступок в рапорте М. С. Корсакову.

Бакунин же, получив несколько слов от Кукеля, расценил их иначе. В своем ответе он не ограничился благодарностью за помощь его жене, но и пространно высказался по вопросам политическим, причем так, что выходило, будто бы Кукель его единомышленник и нуждается в его советах для определения своей линии поведения.

После того как письмо это было перехвачено и содержание его сообщено царю, последовало «высочайшее повеление» об отстранении Кукеля от исполнения возложенных на него обязанностей и должностей. Однако хлопоты Корсакова о своем ближайшем помощнике и другие помогли, и в декабре 1863 года ему было разрешено вернуться к «исправлению занимаемой должности».

Антонине Ксаверьевне удалось выехать из Иркутска лишь в декабре 1862 года. Два месяца прожила она в Премухине, а затем, после нелегких хлопот, получив, наконец, заграничный паспорт, отправилась в Лондон.

В ожидании приезда жены Бакунин не терял времени даром. Он продолжал свои попытки революционизировать «Колокол», искать новых людей, «заявлять свою необузданную революционную решимость» — так характеризовал его деятельность сотрудник III отделения, автор «Нравственно-политического обозрения за 1862 год».[215] По свидетельству этого документа, приезд Бакунина «оживил деятельность русской

пропаганды» и, что уж совсем бесспорно, усилил наблюдение агентов III отделения за лондонскими пропагандистами.

Особое беспокойство этого учреждения вызвали контакты Бакунина и Кельсиева с деятелями старообрядческой церкви. «Главные происки заграничной пропаганды направлены были на возмущение раскольников», [216] — пишет автор обозрения, преувеличивая место и значение этих «происков». Главного места они не занимали, но известную роль в деятельности Лондонского центра играли. Протест старообрядцев против официальной церкви, преследование их правительством делали эту довольно многочисленную категорию русского крестьянства в глазах русских революционеров оппозиционной самодержавию силой, на которую они рассчитывали опереться.

В редакции «Колокола» связи с раскольниками приобрели конкретный характер после того, как вопросом этим активно занялся Кельсиев.

Василий Иванович Кельсиев представлял собой тип человека, понимавшего всю горечь российской действительности, ненавидевшего все неправды существующего строя, но от постоянной и всеобъемлющей критики действительности не приобретшего никакого собственного нравственного капитала. Именно отсутствие нравственных устоев и привело его впоследствии к ренегатству. [217]

В Лондоне Кельсиев появился в 1859 году, остановившись по пути на Алеутские острова, где он должен был служить помощником бухгалтера в Русско-Американской компании. Он задержался здесь, а потом и совсем решил остаться, несмотря на то, что Герцен всячески отговаривал его от этого шага. Взявшись помогать Герцену в редакции и приводя в порядок многочисленные документы о преследовании раскольников, без движения лежащие в делах «Колокола», Кельсиев увлекся ими. В итоге ему удалось подготовить и опубликовать четыре выпуска «Сборника правительственных сведений о раскольниках». Но этого ему было мало. Он стремился установить связи с русскими старообрядческими колониями в Турции и Молдавии и, наконец, со старообрядческими организациями в самой России, для чего нелегально и ездил туда весной 1862 года.

Познакомившись с деятельностью этого «специалиста по расколу», Бакунин немедленно принял в ней участие. Однако как по идее, так и по практическим акциям союз этот не мог иметь места.

Визит в Лондон старообрядческого епископа Пафнутия наглядно продемонстрировал всю несоединимость революционеров с деятелями раскола. Поведение же в этом эпизоде Бакунина лишь подчеркнуло комическую сторону этих переговоров. «Бакунин явился посмотреть лондонского старообрядца, — пишет Кельсиев, — которого я, признаться, прятал, чтобы избежать разгласки... Помню, что он поднялся ко мне в кабинет, распевая во все горло какой-то тропарь». [218]

А вот как описывает эту встречу автор статьи о расколе Н. И. Субботин: «Вечером 5 января 1862 г. в крещенский сочельник Пафнутий сидел одиноко в своей квартире. Вдруг он слышит, что кто-то, распевая густым басом „Во Иордане крещающуся тебе, Господи“,

тяжелыми шагами поднимается по лестнице, дверь распахнулась, и какой-то незнакомец, сопровождаемый Кельсиевым, с хохотом вошел в комнату...»[219] Весь тон, принятый Бакуниным в разговоре, его бесцеремонность и вместе с тем неуклюжие попытки продемонстрировать свое сочувствие религиозным идеям Пафнутия произвели весьма неприятное впечатление на деликатного и сдержанного старца. Знакомство их было смягчено лишь одним обстоятельством: у них оказался общий знакомый — Алимпий Милорадов — коллега Бакунина по Пражскому съезду. По словам Субботина, Бакунин прочел Пафнутию письмо, в котором он писал Милорадову: «Отец Алимпий, помнишь ли Прагу? Что же ты дремлешь? Пора за дело!»

Неудачным оказался как визит Пафнутия в Лондон, так и посещение Герцена другим деятелем раскола, казаком-старовером из Турции — Осипом Гончаром.

Но все эти попытки контактов были далеко не главным в пропаганде, которую вели Герцен и Огарев. В главном же, в самом направлении и характере деятельности редакторов «Колокола», Бакунин с первых же недель вступил в противоречие с Герценом и Огаревым. Уже первая статья Бакунина «Русским, польским и всем славянским друзьям» не понравилась Герцену. Весь тон ее — тон 1848 года — не соответствовал ни новым обстоятельствам, ни характеру «Колокола». Очевидно, поэтому и не появилась вторая часть этой статьи. Бакунину, писал Герцен, «мало было пропаганды, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были „посвященные и полупосвященные братья“, организация в крае — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства».[220]

К весне 1862 года отношения обострились настолько, что встал вопрос о возможности дальнейшей совместной работы.

«Вы создали силу, — писал Бакунин друзьям. — Создать другую такую силу не легко, у меня нет герценовского таланта — принимая слово „талант“ в обширном, не только литературном смысле. Но во мне все-таки есть сила полезная и благородная, которую вы, пожалуй, не признаете, но которую я знаю. Обречь ее на бездействие я не хочу, да и не имею права. Когда я приду к убеждению, что в соединении с вами для нее нет выражения, ни дела, тогда я, разумеется, от вас отделюсь и по средствам и по умению буду действовать особенно... Быть третьим в вашем союзе — единственное условие, при котором наше соединение возможно, в противном случае мы будем союзниками и, пожалуй, приятелями, но вполне независимыми и неответственными друг за друга».[221] В ответ на это Герцен и Огарев предложили Бакунину «Дружеское и союзное возле».

«Сердце мое удовлетворено, — отвечал Бакунин, — спасибо вам за то, что вы приняли письмо мое так серьезно и не искали в нем выражений раздраженного самолюбия, — для себя лично я ничего большего не желаю...»[222]

Но и «союзное возле», предложенное Герценом, и удовлетворение, высказанное Бакуниным, далеко не исчерпывали и не могли исчерпать разногласий между ними. Слишком разные были эти люди, слишком по-разному подходили они к главному делу их жизни —

освободительной борьбе. Общим было дело, общими были и отдаленные конечные цели, но пути... Сколько личных судеб революционеров, сколько политических течений и партий разошлись на вопросе о путях, средствах и методах борьбы.

Глубоко искренний, конкретный, общечеловеческий гуманизм, органически присущий Герцену, делал его противником всех проявлений авантюризма в теории и тактике революционной борьбы. К 60-м годам он в значительной мере оставил позади различные социальные иллюзии, трезво и скептически смотрел на современный мир: Он знал, что наибольшую силу в этом мире имело слово, и потому вел свою пропаганду. Но строгая последовательность — это вид мужества, доступный не всем. Да и обстоятельства иной раз складываются так, что простая честность требует непоследовательности. И тогда человек, бессильный перед ходом событий, поступает так, как требует его совесть.

В событиях конца 1862 и 1863 годов Бакунин стал для Герцена как бы частью обстоятельств, частью той действительности, которая иной раз заставляла идти вопреки трезвому анализу и разуму. Глубокие, принципиальные разногласия старых друзей не были делом личным. Они отражали две основные линии русского освободительного движения. С одной стороны, была бунтарская революционность, с другой — вдумчивая и серьезная подготовка сил, пропаганда, просвещение. Личная же приязнь и личная дружба между ними уживались почти всегда рядом с теоретическими расхождениями. «Ты должен знать, Герцен, что уважению моему к тебе нет меры и что я искренно люблю тебя. Прибавлю еще, что без заднего чувства, но с полной радостью, я ставлю тебя во всех отношениях гораздо выше себя, по способностям и знанию и что для меня твое мнение во всяком деле очень важно». Но после этого признания следовал упрек, говорящий о том, что Бакунин, в сущности, не понимал значения дела Герцена: «Я в самом деле иногда упрекаю тебя в том, что для тебя литературное дело чуть ли не важнее практического и литератор милее простых деятелей».[223] Впрочем, возможно, здесь Бакунин несколько утрировал. Он в общем-то знал, что своим «литературным делом» Герцен создал огромную силу. «Теперь весь вопрос в том, что ты из нее сделаешь? — обращался он к Герцену. — Россия требует теперь практического руководства и практической цели. Дает его „Колокол“ или нет? Если нет, то через год, может быть, и через полгода он потеряет и смысл и влияние, и вся сила, созданная тобой, рушится перед первым смелым, самонадеянным мальчиком, который за неспособность думать, как ты, будет сметь лучше, чем ты. Подымай знамя на дело, Герцен, подымай его со всей свойственной тебе осторожностью, со всем возможным благоразумием, тактом, но подымай его смело. А мы пойдем за тобой и дружно будем работать с тобой».[224] «Делом», о котором писал Бакунин, было восстание. Но и теперь, в 1862 году, Герцен мог бы повторить то же, что писал в 1859 году: «К топору, к этому *ultima ratio* притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора».

Однако надежд оставалось все меньше и меньше. Нарастало национально-освободительное движение в Польше. Польский Центральный национальный комитет готовил восстание, срок которого намечался на весну или лето 1863 года. Русские революционеры на это же время намечали восстание в Центральной России, полагая, что окончание срока, установленного для введения в действие Положения 19 февраля 1861 года, вызовет повсеместные крестьянские волнения.

С начала вольной русской прессы за границей Герцен выступал за свободу и самоопределение Польши. «Мы с Польшей потому, что мы — за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы — русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих».[225] Такова была позиция издателей «Колокола». В польском вопросе Герцен продолжал традицию русских революционеров, еще недавно, в 1847–1848 годах, развитую Бакуниным. Но если Бакунину в те годы не удалось создать польско-русского революционного союза, то теперь все возможности к этому были налицо. Статьи Герцена в «Колоколе», призывавшие к полному и безусловному освобождению Польши от России и от Германии, к братскому соединению русских и поляков, вызвали поток адресов, покрытых сотнями подписей поляков, приветствующих Герцена. Руководители польского движения начали переговоры с издателями «Колокола» о дальнейших совместных действиях. Среди русских офицеров в частях, стоящих в Польше, началось революционное движение. В конце 1861 года сформировалась тайная революционная организация — Комитет русских офицеров в Польше. 16 июня 1862 года в крепости Модлин были расстреляны русские офицеры Арнольдт, Сливицкий и унтер-офицер Ростковский. «Три русских мученика умерли за поляков», — писал Герцен.

В начале июля в Лондон явился представитель революционного офицерства — поручик Андрей Потебня. Он привез письмо офицеров издателям «Колокола». «Что нужно делать русским офицерам в Польше, когда начнется восстание?» — спрашивали они.

В конце сентября начались переговоры между Герценом, Огаревым, Бакуниным и представителями Центрального польского комитета З. Падлевским, А. Гиллером и В. Миловичем. Переговоры эти и последующие встречи с теми, кто готовил восстание, еще раз показали, как Бакунин преувеличивал возможности революции в России. «Бакунин не слишком останавливался на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель... Он увлекал не доводами, а желаниями. Он хотел верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Урал восстанут как один человек, услышав о Варшаве».[226] «Я видел, — писал далее Герцен, — что он запил свой революционный запой и что с ним не столкнешься теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения. За восстанием в Варшаве он уже видел свою „славную и славянскую“ федерацию... он уже видел красное знамя „Земли и Воли“, развевающееся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости, и торопился сгладить как-нибудь затруднения, затушевать противоречия, не выполнить овраги, а бросить через них чертов мост».

«Овраги» же были весьма серьезны. Только народный, крестьянский характер восстания мог принести ему успех. «Если в России, — говорил Герцен полякам, — на вашем знамени не увидят надел земли и волю провинциям, то наше сочувствие вам не принесет никакой пользы, а нас погубит».[227]

Эти требования разделяло лишь демократическое крыло польских деятелей, но не они руководили движением в целом. При этих условиях тот «чертов мост», которым Бакунин пытался соединить русских революционеров и польских деятелей освободительного движения, не мог быть гарантией успеха.

Пожалуй, в той торопливости, в том сглаживании противоречий с поляками, которые проявлял Бакунин, было и что-то личное. Недаром Огарев сурово упрекал его: «Ты затем и хочешь вредной попытки, потому что она тебе дает занятия, хотя бы и вредила делу. Войди в глубь самого себя — и очистишься. Говорю не в укор, а как мольбу о том, чтоб ты выше себя поставил дело, выше себя свою человеческую чистоту».[228] Но убедить Бакунина, погрузившегося в свой «революционный запой», не было возможности. Он помолодел и, как пишет Герцен, — «был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады — он любил также и приговорительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспирации, консультаций, неспанных ночей, переговоров, договоров, ректификации, шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки, я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел».[229]

В результате переговоров и определенных уступок со стороны поляков в «Колоколе» от 1 октября 1862 года появилось обращение Центрального национального польского комитета в Варшаве.

«Основная мысль, с которой Польша восстает теперь, совершенно признает право крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой».[230]

«Это наши основы, это наши догматы, наши знамена, — отвечали полякам издатели „Колокола“ в следующем номере журнала. — Во имя их примите и нашу дружескую руку, слабую силами, но неизменной в убеждениях; мы ее подаем Вам как русские, мы любим народ Ваш, мы верим в него и его будущность, и именно потому подаем Вам ее на дело справедливости и свободы!»

Вопрос о помещении этого ответа также вызвал споры и разногласия между Герценом и Бакуниным. Герцен настаивал на менее официальной, менее обязывающей форме ответа. «Герцен, — писал ему Бакунин, — я решительно не того мнения, чтоб можно было ответить на письмо Варшавского комитета письмом к офицерам. По моему крепкому убеждению, должно ответить на документ документом, т. е. письмом к Комитету... Мне кажется, это требуют и справедливость и наше достоинство. Мы берем на себя практическую ответственность в союзе с поляками, так прятаться от нее нечего. Иначе скромность покажется трусостью и нежеланием компрометировать себя».[231]

Вопрос был решен так, как предлагал Бакунин. В том же номере «Колокола» по его же настоянию был помещен и ответ «Русским офицерам в Польше», спрашивающим еще ранее, что делать им в случае восстания.

«Общий ответ прост — идти под суд, в арестантские роты, быть расстрелянным, как Сливицкий, Арнгольдт и Ростковский, быть поднятым на штыки, как вам грозил ваш дикий кондотьер Хрулев, но не подымать оружия против поляков, против людей, отыскивающих совершенно справедливо свою независимость».[232]

Принципы, провозглашенные Центральным польским комитетом: право всякого народа располагать своей судьбой и право крестьян на землю, — разделялись далеко не всеми как в Польше, так и особенно в среде польской эмиграции. Бакунин был прав, когда писал Лугинину, что «никогда не было до сих пор объявлено поляками публично „право народов распоряжаться собой“. В применении к Литве, Украине право, так ясно высказанное в письме Центрального комитета, это огромный шаг, вызвавший против них бурю в большей части польской эмиграции».[233]

Бурю эту раздувал генерал Мерославский. В польском движении он представлял крыло крайнего национализма. Его программа требовала восстановления Польши в границах до 1772 года, то есть с включением в нее украинских, белорусских, литовских земель. Никакого крестьянского движения в самой Польше он не признавал, однако не возражал против крестьянской революции в России, которая могла бы поддержать польское восстание.

Бакунин познакомился с Мерославским в августе 1862 года во время кратковременной поездки в Париж. Сначала польский генерал попытался использовать силы, будто бы стоящие за Бакуниным, и предложил союз исключительно с ним, отрицая за всеми другими деятелями право представлять интересы Польши. Однако в Лондоне вскоре стало известно о наличии Центрального польского комитета, с которым и начались переговоры. Тогда Мерославский обрушился на Бакунина и редакцию «Колокола», обвиняя их в подготовке «четвертого раздела Польши» и других несуразностях.[234]

Разрыв с Мерославским был вполне естествен. Националистическая программа польского генерала делала невозможным союз между ним и Бакуниным. Однако агенты III отделения склонны были приписать своим усилиям этот разрыв, который, по словам «Нравственно-политического обозрения за 1862 год», произошел под влиянием «одного ловкого анонимного подстрекательства».

Сама история этого «подстрекательства» не лишена интереса. Известный агент III отделения А. Балашевич-Потоцкий, работавший с 1861 по 1875 год за границей, вступил с этой целью в переписку с Бакуниным, и если разъединение двух противников самодержавия произошло и без его участия, то ловко обмануть старого конспиратора по другим вопросам ему удалось вполне.

В середине декабря 1862 года Бакунин получил письмо от неизвестного поляка из Парижа, в котором корреспондент писал о себе, о Париже, о женщинах, высказывал весьма скептическое отношение к возможности революционного движения в России и Польше: «Обширность страны, трудные сообщения, разъединенность сословий, а главное — незнание дела вызовут плачевные результаты и новые жертвы».[235] Подпись под письмом была странной: Абракадабра.

Бакунин с ответом не задержался. Вскоре пришло новое письмо, на этот раз, помимо общих рассуждений, содержащее предупреждение против козней Мерославского. Переписка завязалась и продолжалась в этом же духе. Причем Абракадабра упорно отказывался расшифровать свое имя. Тем не менее мысли этого анонима показались Бакунину столь интересными, что он предложил ему сотрудничать в «Колоколе». Параллельно он попытался

выяснить имя своего корреспондента окольным путем, написав в Париж Мари Кардо: «Узнайте ради бога, кто такой Клепацкий и какого поля эта ягода? Я получил довольно интересную корреспонденцию из Парижа от какого-то анонима Абракадабра, этот аноним дал возможность сноситься мне с ним через какого-то Клепацкого».[236] Корреспондентка Бакунина узнать ничего не смогла, но сам Абракадабра — Потоцкий, естественно, узнал о попытках Бакунина выяснить его личность. Узнал и — обиделся. По крайней мере Бакунин в следующем письме к нему счел нужным как бы оправдаться за свое недоверие: «Вы странный человек, но ничего, до сих пор Вы мне нравитесь... Обещаю не подвергать вас более полицейским розыскам и даже о г. Клепацком не буду спрашивать».

Преследуя свою цель, Абракадабра прибег к довольно примитивному методу. В следующем письме он сообщил, что трое поляков — Цверцякевич, Милович и Хмелинский — арестованы в Париже по доносу Мерославского. Однако эффекта от такой информации не получилось. «Ну, послушайте же, — отвечал Бакунин, — я о Мерославском невысокого мнения. Думаю, что несчастное, чудовищное тщеславие может довести его даже до дел преступных. Его нелепое отрицание существования Центр. Комитета, его неблагородные выходки против нас ясно это доказывают, но чтобы он был способен на формальный донос... и ум и сердце, все существо мое противится тому, чтобы я мог этому поверить. Не зарапортовались ли Вы? Вы видите, любезный незнакомец, сохраняя свой аноним, Вы мне даете право Вам грубить — как на маскараде».[237]

Переписка Бакунина с Абракадаброй продолжалась еще некоторое время. Причем он так и остался в неведении о том, кто был его тайный корреспондент. Балашевич-Потоцкий тщательно переписывал все письма Бакунина, так же как и другие документы, в свою личную тетрадь, которая и поныне хранится в ЦГАОРе.

Но вернемся к событиям, предшествовавшим польскому восстанию.

Польские революционеры наметили срок выступления на весну 1863 года, приурочив его к рекрутскому набору. Но ни в России, ни тем более в Лондоне не было организации и сил, чтобы действительно поддержать поляков. Заявления издателей «Колокола» были чисто декларативными. Герцен, Огарев, Бакунин не могли поступить иначе. В сложившейся обстановке они должны были сказать и сказали о своей позиции. Их открытая поддержка готовящегося выступления поляков была не только вопросом политики, но и вопросом революционной чести. Поляки же, однако, рассчитывали не только на моральную помощь.

«Вы думали, — сказал Герцен во время переговоров, — что мы сильнее... Да... вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, т. е. она может улетучиться; мы сильны сочувствием, унисоном со своим. Организации, которой бы мы сказали: „Иди направо или налево“, — нет».[238]

В самой же России «клались первые ячейки организации». Говоря так, Герцен имел в виду «Землю и Волю» — тайное революционное общество, которое создавалось с конца 1861 года. Его организаторами были последователи Н. Г. Чернышевского: А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев, братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, В. С. Курочкин, С. С. Рымаренко и др.

Русский Центральный народный комитет, стоявший с 1862 года во главе общества, старался объединить на федеративных началах уже существовавшие и вновь возникавшие революционные кружки как в обеих столицах, так и на местах. В том же 1862 году к обществу присоединился и Комитет русских офицеров в Польше. Программные требования общества в общих чертах совпадали с платформой Герцена и Огарева, а также с программной частью брошюры Бакунина «Народное дело». «Право каждого на землю и выборное федеративное правительство» — так кратко разъяснял Герцен основное содержание землевольческой программы.

Никакими конкретными силами, способными помочь полякам, землевольцы не располагали, и, когда в ноябре 1862 года в Петербург для переговоров приехал Падлевский и сообщил о готовящемся выступлении, они были поражены, растеряны. «Мы все, — пишет Л. Ф. Пантелеев, — сочувственно относились к польскому движению, предвидели вероятность революционного взрыва, и тем не менее категорическое заявление Падлевского, что восстание вспыхнет в самом непродолжительном времени, произвело на нас ошеломляющее впечатление: нам казалось, что поляки идут на верную гибель. Какую же помощь можем оказать им? Никакой, у нас нет ни малейших средств сделать в их пользу хотя бы самую незначительную диверсию. Надо быть честным, нельзя подавать какие-нибудь призрачные надежды людям, идущим на смерть».[239]

О невозможности реально помочь полякам писал и Герцен представителю польского комитета И. Цверцякевичу.

В письме, посланном в ноябре Комитету русских офицеров в Польше, Огарев умолял приложить все усилия и оказать все возможное влияние на польских руководителей, с тем чтобы отложить выступление. Письмо это продолжил Бакунин. Согласившись с Огаревым, что отсрочка восстания была бы спасительной, он, однако же, призвал русских офицеров быть готовыми и, когда «польские братья» восстанут, поддержать их. «И если вам суждено погибнуть, сама гибель ваша послужит общему делу. А бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш и противность всем расчетам холодного рассудка неожиданно увенчаются и успехом?

Что же до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь. Прощайте, и, может быть, до скорого свидания».[240]

Это стремление самому разделить участь сражающихся, оптимистические надежды на возможное торжество подвига над доводами холодного рассудка отличали позицию Бакунина, но далеко не всегда оправдывали его. Жертвовать своей жизнью волен каждый, но можно ли призывать к тому же других или просто обрекать их на подобные жертвы во имя эфемерной идеи скрепления союза кровью? А именно так ставил вопрос Бакунин. «Надежды на успех, на настоящий успех, признаюсь, во мне немного, — писал он в Париж польскому эмигранту Коссиловскому. — И знаете, о чем я молю? Чтобы в случае неудачи как можно более русских погибло в борьбе за польское дело, чтоб братство наше освятилось делом и кровью, и рад бы умереть вместе с ними... А бог знает., ну, да об этом еще говорить не станем».[241]

Подобная позиция Бакунина восхищала Ю. Стеклова. Он полагал, что готовность отдать свою жизнь, даже в деле, обреченном на поражение, выгодно отличала Бакунина от Герцена, не стремившегося лично на баррикады Варшавы.[242] Вопрос же о многих других жертвах не смущал биографа Бакунина. Нам же кажется, что правда в этом споре была на стороне Герцена, который прежде всего страшился ненужных жертв, а сам, вооруженный лишь силой слова и печатным станком, творил великое дело революционной пропаганды.

Тяжело переживал Герцен месяцы «затишья перед грозой», грустно проводил он Потебню, приехавшего, «чтобы спросить наше мнение и, каково бы оно ни было, пойти неизменно по своей дороге».

Подготовка восстания велась почти открыто. Готовилось к наступлению и правительство.

Объявив досрочный рекрутский набор в Польше, оно хотело изъять революционную молодежь. Все, кому угрожала рекрутчина, не могли более ждать. Толпы недовольных направились в Варшаву, рабочие и ремесленники польской столицы пришли в движение. Центральный польский комитет вынужден был перенести срок выступления.

В ночь с 22 на 23 января восстание началось. Повстанческие отряды совершили нападения на местные воинские команды как в Варшаве, так и в нескольких других пунктах. Такое начало не предвещало успеха в осуществлении задуманного плана — хотя бы частичного перехода русских войск на сторону повстанцев. В своем письме Центральному правительству польского восстания Бакунин со всей доступной ему мягкостью упрекал польских руководителей в том, что они «в последнюю минуту переменили совершенно мысли» и, не доверяя организации русских офицеров, выступили первыми. «С нравственной точки зрения поляки были правы, ибо пока хоть один солдат находится на земле польской, если только он не союзник, друг, он вне закона. Следовательно, нет ничего естественнее, как напасть на него и убить, чтобы завладеть его оружием. Я думаю, впрочем, что Центральный комитет в Варшаве ошибся в расчете; он не приобрел много оружия таким способом, но сразу разрушил работу целого года».

Преувеличивая степень подготовленности русских солдат к союзу с поляками, Бакунин писал далее, что они были готовы, чтобы присоединиться к повстанцам. «Но когда последние, вместо того чтобы протянуть им руку, напали на них, чтобы силой их разоружить, т. е. перерезать их, тогда, по необходимости переменяя мысли, те же солдаты... стали вашими жестокими врагами».[243]

Ждать в этих условиях повторения подвига Потебни, который сражался на стороне поляков и был убит в бою, было бессмысленно.

Герцен в отчаянии вынужден был констатировать: «До сих пор ни одного русского солдата не перешло, ни один офицер не отказался от команды против поляков. Меня обдаёт ужасом — это хуже расстреливания... Хмелинский, прощаясь, мне сказал: „Потебня... да, Потебня превосходный человек — да кроме-то его кто?“»[244]

Однако как «Колокол», так и «Земля и Воля» продолжали пропаганду в войсках. Обращаясь к офицерам и солдатам русской армии, А. А. Слепцов от имени «Земли и Воли» в воззвании

«Льется польская кровь, льется русская кровь» писал: «Близко время, когда народ русский просветится и пойхмет гнусную и своекорыстную политику современного русского правительства; тогда Россия проклянет всех участвовавших в пролитии польской крови, тогда дети будут стыдиться произносить имена отцов, помогавших насильственно закрепощать свободный народ... Вместо того чтобы позорить себя преступным избиением поляков, обратите меч свой на общего врага нашего; выйдите из Польши, возвративши ей похищенную свободу, идите к нам, в свое отечество, освобождать его от виновников всех народных бедствий — императорского правительства».[245]

Слепцов писал это воззвание в Варшаве, куда приехал в начале января 1863 года для переговоров с Центральным польским комитетом. Восстание началось при кем. Оттуда он направился в Лондон с тем, чтобы, по словам Герцена, предложить издателям «Колокола» роль агентов «Земли и Воли».

«— А много вас? — спросил я.

— Это трудно сказать... Несколько сот человек в Петербурге и тысячи три в провинциях.

— Ты веришь? — спросил я потом Огарева. Он промолчал.

— Ты веришь? — спросил я Бакунина.

— Конечно. — Он прибавил: — Ну нет теперь столько, так будет потом! — и он расхохотался.

— Это другое дело.

— В том-то все и состоит, чтобы поддержать слабые начинания; если бы они были крепки, они не нуждались бы в нас... — заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

— Они так и должны бы были явиться перед нами, откровенно слабыми... желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость... — прибавил Бакунин».[246]

То, что не понравилось в предложении Слепцова Герцену, вполне подошло Бакунину. «Земля и Воля» стала для него тем конкретным, живым русским делом, к которому он всегда стремился. Приверженность его к конспирациям, явкам, шифру и прочим атрибутам тайной революционной деятельности нашла, казалось, полезное применение. Он принял на себя все поручения Слепцова и, так же как сын Герцена — Александр Александрович Герцен, стал агентом «Земли и Воли».

Главную же личную свою задачу с момента начала восстания видел он в том, чтобы пробраться в Польшу и стать в ряды сражающихся. Еще в октябре 1862 года он писал Цверцякевичу: «Как только Варшава поднимется, я, если доживу до того дня, непременно буду там. Если польский Национальный комитет окончательно выскажется за восстание, я буду более чем обязан поспешить к нему на помощь с партией моих русских».[247]

Никакой «партии русских», готовых следовать с Бакуниным из эмиграции в Польшу, конечно, не было, здесь свойственное Бакунину преувеличение, но, когда восстание началось, он стал считать возможным создание на месте, в Польше, русского легиона из пленных солдат и офицеров, сочувствующих полякам, который сражался бы под знаменем «Земли и Воли».

2 февраля он писал Центральному правительству польского восстания: «В этот торжественный час, когда решается участь наших двух стран, я заклинаю вас отвечать мне категорически и откровенно — имеете ли вы доверие к нам? Хотите ли вы, чтоб я пришел в Польшу? Желаете ли вы образование легиона русского?.. Вот что я вас прошу сказать мне с откровенностью, которая прилична людям, сражающимся за свободу».[248] Однако ни после этого, ни после предыдущих и последующих писем Бакунина с аналогичными просьбами приглашения ехать в Польшу он не получил. Линия на крестьянское восстание, которую пропагандировал Бакунин, не имела успеха у представителей партии «белых» в «Национальном правительстве» в Варшаве. Вот поэтому он и не получал приглашения принять участие в движении.

Без решения же земельного вопроса восстание было обречено на поражение. Крестьяне в своей массе заняли выжидательную позицию. Они поддерживали повстанцев лишь в тех районах, где действовали отряды В. Врублевского, А. Трусова и других революционеров. В целом же успехи восставших были невелики и временны. Уже осенью 1863 года началась агония восстания. Но в начале года, в феврале, Бакунин был еще полон веры в возможность поднять, а если удастся, и возглавить именно крестьянское движение.

Не дождавшись ответа из Варшавы, он решил сам пуститься в путь, с тем чтобы в Копенгаген навстречу ему выехал кто-либо из представителей польского правительства для окончательного решения вопроса о формах его участия в восстании.

21 февраля 1863 года, простившись с друзьями, с которыми он мог более и не встретиться, Бакунин выехал из Лондона. Помимо главной цели — проникнуть в Польшу, он имел еще и другие поручения, задания. Нужно было наладить транспорт изданий «Вольной русской типографии» через Скандинавские страны, нужно было установить связи в Швеции и Финляндии, позондировать почву в отношении возможной шведской помощи восставшим полякам и, наконец, нужно было просто быть ближе к месту событий. Копенгаген он счел именно этим удобным и близким местом и здесь хотел дожидаться польского эmissара для решения дальнейших дел.

Из Киля 24 февраля он сообщал, что будет ждать не более трех дней, так как время дорого, «но прежде чем ехать, надо переговорить и согласиться толком и знать, именно куда и к кому и через наших людей, через наши промежуточные станции ехать».[249] Далее он просил передать Цверцкевичу, чтобы прислали «дельного поляка», потому что, если пришлют «дурака или полудурака, то с ним не столкнешься».

В Стокгольм, куда надо было попасть по другим делам и куда в качестве представителя «Колокола» и «Земли и Воли» должен был выехать А. А. Герцен, Бакунин ехать не хотел до выяснения польских возможностей. «Теперь мне не хочется в Стокгольм, — писал он

Герцену и Огареву, — время дорого, а Стокгольм слишком удален от сцены. Но если в продолжение трех, ну, скажем, четырех-пяти дней... если до 29-го не получу ответа и ничего не увижу и не услышу в Копенгагене, — тогда скрепя сердце уеду в Стокгольм».[250]

Ответа не было, и Бакунин направился в Стокгольм. Планы его в отношении Швеции и Финляндии не ограничивались теми конкретными заданиями, которые имел он от своих друзей и представителя «Земли и Воли».

Еще собираясь в Швецию, он писал одному из деятелей польского движения, А. Гутри, о том, что деятельность его там будет направлена к возбуждению финского движения, «которого желали не только мы, но и наши друзья в Петербурге». Однако между пробуждением к поддержке финского национально-освободительного движения и прямым участием Швеции в финском движении была разница. Первое поддерживали Герцен и Огарев, второе — было делом Бакунина. «Если мне только удастся побудить славлюбивых шведских патриотов начать восстание в Финляндии, то я буду очень доволен и счастлив. Подобная диверсия имела бы громадное влияние на русское правительство, на Европу и даже на самую Россию»,[251] — писал он в том же письме к Гутри.

Восстание в Финляндии в случае его успеха обеспечило бы национальную независимость финнов и помогло бы делу освобождения Польши, так полагал Бакунин. Кроме того, в шведском обществе высказывались мысли и о прямой поддержке поляков.

Расчеты Бакунина не были совсем лишены основания. Финляндия в течение столетий составляла часть Швеции. И хотя после войны 1807–1808 годов она была присоединена к России, шведское законодательство в ней было сохранено. В незначительной части финского общества, главным образом в кругах финской эмиграции в Стокгольме, сохранились симпатии к Швеции.

Шведское правительство, естественно, проявляло постоянный интерес к Финляндии. Случилось так, что революционные интересы Бакунина переплелись здесь с политическими интригами шведских правящих кругов. В подобном сочетании ничего хорошего быть не могло. Агитация Бакунина невольно содействовала лишь росту тех тенденций, которые стремились к возврату Финляндии под протекторат Швеции. В самой же Финляндии в это время все более развивалось движение за развитие национального языка и культуры, за полное самоопределение и полную независимость.

Что касается расчетов Бакунина на поддержку Швецией восставшей Польши, то и здесь были некоторые основания. Помощь какой-либо европейской державы могла создать полякам определенный шанс на успех. Но Бисмарк в это время поддерживал Россию. Франция и Англия ограничились лишь официальным протестом против репрессий русских войск в Польше; в Швеции же была развернута широкая кампания за поддержку Польши. Однако на серьезные акции шведы не пошли. По мнению III отделения, пристально и с большим беспокойством следившего за всеми событиями в Швеции, помешали этому «осторожность министерства и письма гамбургских банкиров, угрожающих шведскому правительству, в случае поддержки польского восстания, упадком кредита и невозможностью нового займа».[252]

Шведский министр иностранных дел граф Мандерстрем действительно вел политику весьма осторожную. Появление в столице Швеции Бакунина, шум, поднятый общественностью вокруг этой фигуры и его радикальных и агитационных выступлений, вскоре стали предметом беспокойства графа Мандерстрема, не желавшего портить отношений с русским правительством.

Имя канадского профессора Анри Суле, под которым Бакунин прибыл в Стокгольм, недолго скрывало его. Шведские демократы восторженно приветствовали известного революционера. Начались приемы и банкеты в его честь. Даже несколько поэтов посвятили ему стихи. Его легендарная биография, его борьба за свободу Польши да и большие симпатии к восставшим полякам — все это обеспечивало ему успех. Сам король Карл XV считал нужным принять Бакунина, что же касается Мандерстрема, то он, ничем внешне как будто не выражая своего недовольства по поводу всего этого шума, повел тайные интриги против столь неудобной фигуры. Связавшись с III отделением, он получил оттуда биографию Бакунина, написанную анонимно с использованием «Исповеди» и письма его к Александру II. Расчет был прост и верен. Появись такая брошюра в шведской прессе, она, бесспорно, скомпрометировала бы Бакунина в глазах демократической общественности. Но пока брошюра эта создавалась,[253] Мандерстрем, не теряя времени, выступил на страницах газеты также с анонимной, но более краткой биографией Бакунина, написанной еще без употребления компрометирующих его документов. Эта биографическая справка преследовала цель познакомить шведское общество с той опасностью, которая заключается в самой фигуре «международного революционера», везде сеявшего семена бунта и «революционных интриг».

Тогда, чтобы опровергнуть ложные утверждения о себе, содержащиеся в статье, и вместе с тем объяснить свои цели и планы, Бакунин вынужден был выступить с опровержением, вылившимся в серию статей, три из которых были опубликованы газетой «Афтонбладет», издаваемой шведским демократом А. Сульманом. Бакунин писал о том, как автор его биографии хотел запугать шведскую общественность, «выставляя меня чем-то вроде Герострата и революционного каннибала, мечтающего лишь о поджогах и кровопролитии. И однако ж, я никогда никого не убивал и не приговаривал к смерти, никогда я не позволил кнуту служить цивилизации народа, никогда не сокрушал целых народностей, никогда не сжигал городов и деревень... Никогда я не служил также в качестве палача или жандарма соp amoге или как шпион деспотического правительства... Я вызываю моих противников сказать то же самое о себе.

В моей прошлой жизни нет поступка, за который мне пришлось бы краснеть. В 1848 и 1849 гг., как и сегодня, я имел одну веру — человечество, одну цель — победу свободы. Я знал, что все народы солидарны в свободе, как и в рабстве, и, когда я боролся за свободу Запада, я был уверен, что тем самым борюсь за русскую свободу».

Далее Бакунин излагал свои взгляды на возможность общинного развития своей родины: «Русский народ за два века рабства сохранил в неприкосновенности три принципа, которые послужат ему исторической основой будущего развития. Первым является общераспространенное в народе убеждение, что вся земля принадлежит ему. Второй принцип — уважение к общине, организации, которую два века рабства не могли

совершенно уничтожить и которую русский народ сохранил в виде обычая... Наконец третий принцип, источник всей нашей будущей свободы — самоуправление общины.

Эти три принципа в их наиболее широком значении содержат в зародыше всю будущность России. Их развитие должно иметь своим первым следствием соединение общин в округа, затем округов — в области, наконец областей — в государство».[254]

Место это в статье Бакунина знаменательно. Подняв в 1848 году первым среди русских революционеров знамя общины как социалистического института народной жизни, Бакунин продолжал держать его и в 1863 году. Причем мне кажется возможным предположить, что за период совместной работы с Герценом — главным теоретиком русского общинного социализма — произошло дальнейшее утверждение общинных иллюзий Бакунина. Однако вскоре, как увидим далее, иллюзиям этим придет конец, и община станет еще одним пунктом разногласий между старыми товарищами.

Но в то время Бакунин, продолжая настаивать на спасительной силе общины, именно этот принцип организации общества изложил в своих статьях, адресованных шведскому читателю.

Пока Бакунин в Швеции налаживал политические контакты и «открывал, по словам Герцена, пути в „Землю и Волю“ через Финляндию», в Англии формировалась так называемая экспедиция Лапинского.

Экспедиция была организована польскими эмигрантами Парижа и Лондона, с тем чтобы, высадившись на балтийском побережье, доставить оружие восставшим крестьянам Литвы и, усилив их борьбу польским десантом, отвлечь часть русских войск из Польши. Лондонский представитель польского повстанческого правительства И. Цверцякевич зафрахтовал британский пароход «Ward Jackson», нашел и военного руководителя экспедиции — полковника Теофила Лапинского, долгие годы сражавшегося в рядах горцев в их борьбе против русских войск на Кавказе. «Лапинский храбрый, ловкий, смелый, но бессовестный или по крайней мере широкосовестный кондотьер, патриот в смысле непримиримой и непобедимой ненависти к русским, как военный по ремеслу ненавидящий всякий, даже свой собственный народ»[255] — так характеризовал его Бакунин.

Комиссаром при столь неподходящем руководителе был назначен И. Демонтович. Бакунин должен был присоединиться к экспедиции по пути ее следования. Однако заранее он не был предупрежден и вообще, находясь в Стокгольме, ничего не знал о подготовке этой акции.

Вся организация проходила вне элементарной конспирации. Сам Лапинский и особенно его адъютант Поллес (Тугедгольд) не внушали никакого доверия. В результате русское посольство знало о предполагаемой экспедиции еще задолго до отправки парохода. А когда 22 марта «Ward Jackson», имея на борту 200 повстанцев, отошел от берегов Англии, за ним последовало русское судно «Алмаз».

В тот же день Бакунин получил телеграмму от Цверцякевича с предложением присоединиться к экспедиции в Гельсинборге.

Выехав из Стокгольма, он только через пять дней добрался в дилижансе до назначенного пункта, где его уже ждали целые сутки. По словам Демонтовича, все участники экспедиции с восторгом встретили этого «беззаветного защитника свободы», каждый сердечно жал ему руку и «был рад слушать его горячую речь, полную жизни и энергии». Во все последующие дни этой недолгой и неудачной экспедиции Бакунин должен был играть роль народного представителя. Лапинский в своих воспоминаниях рассказывал, что он просил его «в случае надобности при каких-либо народных оациях отвечать на все приветствия и речи, так как лучше его и громогласнее никто сделать этого не может».[256]

Присоединившись к экспедиции, Бакунин быстро понял, что, кроме Демонтовича, на корабле нет для него искренних союзников. «Молодцами были только юноши — поляки, весело шедшие на смерть и преданные без фраз. С ними и умереть было бы нескучно».[257] Но преданы эти юноши были идее польской свободы. За нее они и шли умирать. Судьбы же крестьянского восстания в России, как и вся идея русско-польского революционного союза, доступная лишь немногим, не волновали рядовых участников экспедиции. Черты же крайнего национализма, свойственные Лапинскому, заставили Бакунина вообще крепко задуматься над проблемой «нашего русского предприятия в польской среде. Для успеха его было необходимо так много симпатии к нему и веры в него со стороны поляков, но ни того, ни другого, кроме Демонтовича, ни в ком не было».[258]

Приняв на борт Бакунина, пароход должен был следовать к Паланге, где предполагалась высадка десанта, который должен был соединиться с отрядами З. Сераковского, выступившими в этом направлении. Однако силы повстанцев в это время были разбиты, а сам Сераковский, тяжело раненный, взят в плен. Правительственные же войска готовили экспедиции соответствующий прием. Получив из Лондона сообщение об этих событиях, руководители экспедиции решили плыть к Готланду, с тем чтобы там послать на разведку две рыбацкие лодки, которые могли бы выяснить место и возможность высадки. Однако капитан, понимая опасность положения, принял свой план действия. Под дулом револьвера он согласился будто бы исполнить требования своих беспокойных пассажиров, но на самом деле направил пароход в Копенгаген, где вместе с частью команды покинул экспедицию.

Новый капитан смог довести пароход лишь до шведского порта Мальме. Здесь шведское правительство задержало пароход. Пассажиры, и в том числе Бакунин, вынуждены были сойти на берег.

31 марта Бакунин писал Герцену и Огареву: «Телеграммы наши уже известили вас о печальной неудаче экспедиции, великолепно задуманной, но из рук вон плохо исполненной, а главное — слишком поздно отправленной. Успех ее был возможен только при соблюдении двух условий: быстроты и тайны. Ее проволочили непростительным образом до 21-го и, вызвав польских эмигрантов из Парижа в Лондон 14-го, прежде чем наняли пароход, убили тайну. Наконец, главным условием был выбор хорошего, смелого капитана, от честной решимости которого зависит весь успех дела. Заместо этого выбрали отъявленного труса и подлеца и тем убили всякую возможность успеха».[259]

Провал экспедиции, по мнению Огарева, повлиял на характер движения в Литве. «Я считаю, — писал он, — большим несчастьем задержку корабля, ибо Д[емонтович] и Б[акунин], более

чем кто другой, могли повернуть вопрос национальный на вопрос крестьянский».[260]

Бакунин и Демонтович выехали в Стокгольм. Остальные участники экспедиции оставались в Мальме два месяца, пока Лапинский не предпринял еще одной попытки добраться до берегов Литвы.

4 июня, не объявив о цели путешествия, Лапинский погрузил свой отряд на пароход, который будто бы направлялся в Лондон. Спустя некоторое время пароход бросил якорь в виду Копенгагена, где присоединившийся к отряду Демонтович объявил о намерении командования сделать последнее усилие — опасную высадку на перешеек Куриш-Гаф. Слова его были встречены восторженными криками. Ночью к пароходу подошла шхуна «Эмилия», нагруженная оружием и боеприпасами, на которую и перешли участники экспедиции. Обманув таким образом возможных преследователей, шхуна взяла курс в сторону Пруссии. 11 июня поздним вечером экспедиция достигла места предполагаемой высадки. Море было бурным, а шлюпка, в которую погрузились 32 человека, неисправной. Вода быстро заполнила ее; перевернулась и другая шлюпка. Лишь восемь человек, продержавшись два часа на воде, были подобраны лодкой, посланной им на помощь со шхуны. 24 человека погибли. Так трагически кончилась эта последняя попытка эмигрантов-поляков принять участие в борьбе за освобождение родины.

Бакунин тем временем, находясь в Стокгольме, все больше терял надежду на возможность прямого участия в борьбе Польши. Да и отношение польских руководителей давало мало поводов ждать ему теперь приглашения из Варшавы.

С тем большей энергией развернул он деятельность среди шведских и финских демократов.

В мае в Стокгольм, наконец, приехала Антонина Ксаверьевна, которую так долго и безуспешно ждал Бакунин до этого в Лондоне. Поселились они на окраине города, где сняли две комнаты на даче, находящейся в королевском парке. Молодая и привлекательная женщина, сопровождавшая теперь этого маститого революционера, немало способствовала его успеху в шведском обществе. Да и вообще пара эта была весьма колоритна. Помимо роста, сложения, громкого голоса и подкупающей непосредственности в обращении, окружающих поражала своеобразная и осмысленная красота лица Бакунина. Именно эта ярко выраженная печать интеллектуализма сглаживала, казалось, значительную разницу лет с его юной супругой. «В отношениях Бакунина к Антосе, — пишет по этому поводу Л. И. Мечников, — не было и тени ничего селадонского, слащавого. К тому же он обладал физиономией, прекрасно поясняющей известные стихи Пушкина о Мазепе и его крестнице».[261]

Небольшого роста, несколько суховатая, с короткими завитыми волосами, Антоса по временам казалась очаровательной девочкой, а чаще, по словам того же Мечникова, смахивала на мальчика. Молодость, внешние данные и польское происхождение Антонины Ксаверьевны неизменно вызвали успех и симпатии в шведских гостиних.

Однако с самого начала совместной жизни Бакуниных за границей еще более проявилась вся духовная бесперспективность этого брака. Антоса не увидела и не поняла сразу, как не

понимала и потом, значения и смысла огромной, всепоглощающей деятельности мужа. Ее интересы навсегда замкнулись в кругу вопросов быта, несложных развлечений, семьи. Вот что писала она о стокгольмской жизни Татьяне Бакуниной: «Мы живем не богато, но и не бедно, — в середине королевского парка. Подле нас живет предоброе и премилое семейство... С дочерьми я хожу купаться и выучилась плавать — да не на шутку... Вчера ходила с Мишелем искать грибы и нашли даже два белых. Наконец изредка бываю в опере. Иногда Мишель читает и таким образом проходят наши дни».[262]

Казалось бы, сплошная идиллия, но в действительности жизнь для Михаила Александровича была совсем иной. Поистине бешеная деятельность: пропаганда всегда и везде, а здесь, в Стокгольме, после неудачи проникновения в Польшу прежде всего установление связей с Россией через Швецию и Финляндию.

Еще накануне его отъезда из Лондона польский деятель З. Йордан направил письмо лидеру финской эмиграции в Швеции Эмилю Квантену, в котором под именем Магнуса Беринга рекомендовал Бакунина и просил оказывать ему всяческую помощь и поддержку. Э. Квантен был человеком весьма влиятельным. Он занимал должность вице-библиотекаря Королевской библиотеки, был членом шведского риксдага. Ведя борьбу против владычества России в Финляндии, он пропагандировал идею независимости своей родины в союзе с дружественной Швецией. Его публицистические работы, изданные в Стокгольме, провозились через тайные каналы в Финляндию, где широко распространялись среди финской общественности. Таким образом, именно Квантен мог помочь русским революционерам в налаживании связи с Россией через Финляндию.

В первый месяц пребывания Бакунина в Стокгольме Квантен ввел его в круг местной демократии, помог наладить ряд практических связей. 24 марта, уезжая из Стокгольма без надежды вернуться обратно, Бакунин в письме к А. А. Герцену передал ему свои связи, рекомендуя Квантена и А. Норденшельда как финских патриотов, заслуживающих безусловного доверия. «Они хотят освободиться от нас и стать независимыми, мы же будем ближе к нашей собственной свободе, если они благодаря собственному немедленному действию освободятся от нас, — наше стремление к самоосвобождению должно и будет объединять нас... Я заключил с ними от моего имени и от имени всей партии союз на жизнь и на смерть, простой принцип которого есть свобода и абсолютно свободные самоопределения. И пусть твой отец напишет Квантену и Норденшельду письмо по-французски и ратифицирует наш союз и нашу личную дружбу».[263]

А. А. Герцен, считал Бакунин, должен был заняться прежде всего установлением связей между финскими организациями, Лондоном и Петербургом. «Петербург и Лондон предоставляют Финляндии всю возможную помощь печатью или делами. Со своей стороны, Финляндия окажет нам неоценимую помощь во всем, что касается русской программы и тайной корреспонденции с Петербургом и остальной Россией».[264]

28 марта, уже из Гельсинборга, Бакунин послал Квантену записку и новое письмо для передачи А. А. Герцену с рядом конспиративных поручений и, в частности, сообщил адрес для связи с Петербургом и вызова оттуда представителя в Стокгольм. В свою очередь, провожая младшего Герцена в Швецию, Огарев разработал для него инструкцию, согласно

которой он должен был работать там над тремя вопросами: «1) учреждение склада и постоянных сношений, 2) присоединение финского общества к русскому, 3) литовское дело».[265]

Вернувшись после неудачной экспедиции, Бакунин направил в Петербург эмиссара-финна для связи с «Землей и Волей». В то же время он предлагает финнам объединиться в тайное общество, «создать центральный комитет из пяти, семи или даже десяти лиц, служащий центром всей финской конспирации».

Но финское и шведское общество не главное для Бакунина в этот момент. Основное — это «Земля и Воля», связи с ней, работа для нее. А связей-то, по существу, и нет. Слепцов, уполномочив Бакунина выступать от лица организации и пообещав прислать в Стокгольм доверенного человека, сам, заболев, из Европы в Петербург не вернулся. В Петербурге же начались аресты. Оставшимся там членам Центрального комитета было не до Бакунина. Письма, которые удавалось ему переправить в Петербург, остались без ответа, но он продолжал предлагать свое деятельное участие в делах общества. 9 июля он писал в Швейцарию представителю «Земли и Воли»: «Если вы хотите иметь со мной дело и если полагаете, что мое участие в общих трудах может принести пользу, то, прошу вас, отвечайте. Я так же, как и лондонские друзья мои, с радостью признал С.-Петербург[ский] комитет и готов следовать его руководству; только для этого мне надо знать и положение ваших дел и ваше настоящее направление. И потому, ради бога, пишите и дайте адрес. Неужели ж, имея на то все средства, мы не сумеем устроить между собой правильных и постоянных сношений?.. Ради бога, скажите, что у Вас делается, что за границей делать прикажете, и дайте ж с Вами соединиться теснее и ближе. Мы здесь можем быть полезны только в той степени, в какой мы в связи с вами — и потому пишите, пишите и дайте адресов».[266]

Стараясь быть полезным «Земле и Воле», Бакунин стал пропагандировать ее и среди шведского общества. Причем согласно своим убеждениям он не видел греха в том, чтобы преувеличить роль и значение этой организации. Так, выступая на банкете, устроенном в его честь, он заявил: «За последнее время в России образовалось великое патриотическое общество, одновременно консервативное, либеральное и демократическое, под названием „Земля и Воля“. Центр его находится в Петербурге, а ответвления распространяются по всем областям Великороссии. Все благомыслящие русские, независимо от своего состояния и положения, генералы и офицеры, гражданские чиновники всякого ранга, помещики, священники и крестьяне, принимают в нем участие... Цель, к которой стремится это общество, имеет вполне гуманный и консервативный характер, а именно — спасти Россию от безумств императорского царствования и довести до конца великую политическую и социальную революцию... Программа его весьма проста:

1. Она хочет передать землю крестьянам без выкупа...
2. Принимая общину за исходный пункт, превратить чисто немецкую бюрократическую администрацию в национально-выборную систему и заменить насильственную централизацию империи федерацией независимых и свободных провинций.
3. Отменить рекрутчину и вместо постоянной армии ввести милицию...

4. Для осуществления всех тех идей, которые я сейчас, господа, перед вами развил... оно громогласно требует созыва Земского собора...
5. Таково, господа, общество, к которому я имею честь принадлежать и которое здесь представляю».[267]

Это выступление Бакунина вызвало резкое недовольство его лондонских друзей.

«Твое хвастовство об общ. „З. и В.“ не принесло ему пользы, — писал Огарев, — этот обычай — нам не расчет. Ведь твоим словам никто не поверил. Выходит только, что люди, которые и присоединились бы, видя, что общ. твоими устами говорит небывалые вещи, уклонятся от общества».[268] Но не только «хвастовство», но и вся позиция Бакунина не устраивала Герцена и Огарева. Этот неутомимый революционер слишком спешил, хотел, «чтобы все было сейчас поскорее». А ситуация тем временем менялась. Бакунин же, казалось, не замечал этого.

1863 год не оправдал надежд русских революционеров. Восстания крестьян не произошло. На демократическую интеллигенцию обрушился град репрессий. Надежд на успех польского восстания не было никаких. В этих условиях нужна была иная тактика. А. И. Герцен так определил ее: «Нам остается, таким образом, подготовительная работа, поиски путей, связей, постоянного обмена мыслями и взглядами».[269] Эта тактика была не для Бакунина. Линия разногласий с лондонскими друзьями лишь обострилась и углубилась за время его пребывания в Швеции. Определенную роль здесь сыграла и его ссора с А. А. Герценом.

Молодой человек, получивший конспиративные поручения от Слепцова и рекомендательные письма от своего отца, приехал в Стокгольм, так как предполагалось, что пребывание Бакунина там не будет долгим и нужно будет продолжить дело, начатое им. Отсутствие опыта и должного такта, с одной стороны, и желание быть первым представителем «Земли и Воли» — с другой — привели его к столкновению с Бакуниным. «Ваш спор о том, кто из вас законный *chargé d'affaires* (уполномоченный. — Н. П.) „З[емли] и В[оли]“, комичен до высшей степени. Что молодой человек мог найти приятным представлять начинающий круг молодых людей — я понимаю. Но что ты тоже будто не прочь иметь помазанье с Невы, когда ты его имеешь из Петропавловской крепости и Сибири, — это я не понимаю».[270] — писал А. И. Герцен по поводу этого конфликта.

Герцен не понимал, что «помазанье с Невы» было для Бакунина не вопросом честолюбия, а живым революционным делом, в которое он поверил и в которое готов был уйти целиком, вплоть до грозившей ему смертью поездки в Россию. Но все его надежды были тщетны.

Не связавшись с Центральным комитетом «Земли и Воли», не получив возможности попасть в Польшу, он решил покинуть Швецию. Еще в июле он писал представителю «Земли и Воли» о том, что остается в Стокгольме в ожидании ответа и что, если это будет нужно и полезно, готов ехать прямо в Россию. «Но если это окажется невозможным и если я не получу от Комитета специального поручения, то я в конце сентября выеду в Лондон».

Пребывание Бакунина в Швеции доставляло много хлопот российскому послу в Стокгольме Дашкову. Поэтому, когда этот опасный человек покинул столицу Швеции, Дашков 8 октября

1863 года с облегчением доносил министру иностранных дел князю Горчакову: «С радостью могу сообщить вашему сиятельству, что неделю тому назад Бакунин, наконец, уехал в Готенбург и Лондон, откуда он намеревается отправиться в Италию... Несмотря на восторги, вызванные в свое время его приездом, отъезд его прошел почти незамеченным».[271]

Версия #1

Зверобой создал 30 мая 2025 06:48:29

Зверобой обновил 30 мая 2025 06:49:41